

А. КОВАЛЕВ

КОЛОКОЛ  
МОЙ—  
ПРАВДА



Ковалев Афанасий Федорович родился в 1903 году на Мишчине, в деревне Лошница Борисовского уезда в многодетной крестьянской семье. Первую половину 20-х годов работал на железнодорожной станции Приямино: путейцем-ремонтником, грузчиком шпалопропиточного завода, зав. складом лесо-материалов. Был ЧОНом, активист местной комсомольской ячейки, с 1926 года — коммунист. Закончил Витебский кооперативный техникум. Был в педагогические курсы в Ленинграде, учился в Московском заочном институте советской торговли. Преподавал в том же техникуме, работал секретарем парткома Витебской швейной фабрики «Знамя индустриализации». Был инструктором, заместителем заведующего отделом пропаганды и культуры, первым секретарем Витебского горкома партии. С сентября 1937 года — Председатель Совнаркома БССР. Избран депутатом Верховного Совета СССР и одновременно — депутатом Верховного Совета БССР. Входил в состав бюро ЦК Компартии Белоруссии. В январе 1939 года А. Ф. Ковалева арестовали, и по сфабрикованному делу «врага народа» он более трех лет содержался в тюрьмах. Реабилитация, восстановление в партии и депутатских правах последовали в военном 43-м году. С этого времени и до выхода на пенсию работал в системе потребительской кооперации. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Живет в Минске.



*Здесь нужно, чтоб душа была тверда;  
Здесь страх не должен подавать совета.*

*Данте*

---

---

## АРЕСТ

— Алло! Алло! — раздался в телефонной трубке голос секретаря Минского обкома партии Александра Павловича Матвеева — Вы кто же, страдаете бессонницей? — спрашивал он меня. — Уже второй час ночи, а вы на работе!

— Следую вашему примеру, Александр Павлович! Должно быть, вы тоже не из квартиры звоните! — ответил я.

— Да, задержался малость, бумаг накопилось много, а из-за этих бумаг можно провалить живое дело... Приходите завтра в обком, посоветуемся насчет сселения хуторов и ремонта сельхозтехники к предстоящей посевной кампании, — продолжал Матвеев. — Да, еще вот что: в ближайшее время будем обсуждать на бюро состояние местной промышленности — готовьтесь к докладу. Ну, а теперь пора на отдых!

Пожелав друг другу спокойной ночи, мы закончили разговор, и я пошел домой. Была звездная январская ночь. Большая Медведица своим ковшом спускалась к горизонту. Легкий мороз приятно пощипывал лицо. Дышалось легко и свободно.

Хорошо идти по улицам спящего города. В домах давно погасли огни. В морозной тишине далеко слышны звуки шагов. Подходя к дому, я заметил, что за углом скрылись две незнакомые фигуры.

Открыв входную дверь в квартиру и закрыв ее за собой на ключ, я, стараясь не разбудить домочадцев, тихо вошел в переднюю. Сквозь окно дрожащим бледным пятном

светила луна. Дома все спали. Не зажигая света, разделся и скоро уснул.

Проснулся от сильного толчка в спину. Около кровати стояли три человека, одетых в шинели. Двое схватили меня за руки, третий начал шарить под подушкой, полез под матрац. Остальные пришельцы сгрудились, кто у дверей, кто возле окна.

— Где оружие?

— У меня нет оружия.

— Врешь! Где оружие? — сердито закричал обыскивающий.

— Нет у меня оружия, — отвечал я, стоя посреди комнаты в белье. Двое крепко держали меня за руки.

Старший по званию, лейтенант НКВД, предъявил ордер на арест и обыск, подписанный наркомом внутренних дел БССР Л. Ф. Цанавой.

— Вы не имеете права меня арестовывать, — заявил я. — Я депутат Верховного Совета СССР и БССР, член ЦК КП(б)Б. Я протестую против этого беззакония.

— Мы исполняем приказ, а протестовать вы будете там, куда мы нас доставим, — сердито сверкая глазами, сказал лейтенант.

Мне грубо завернули руки за спину и усадили в угол комнаты.

— Все тщательно обыскать, — сказал подчиненным лейтенант.

В квартире находилось больше десяти работников НКВД. Некоторые были в штатской одежде. Они переворачивали все вверх дном, ощупывали каждую подушку, вспаривали матрацы, обстукивали пол и стены, шарили в шкафах, выбрасывая все на пол. Каждый чемодан также тщательно ощупывался: нет ли двойного дна. Из детской кроватки подняли больного трехлетнего Толю, вспороли его матрац. Заглядывали в печку, духовку, трубу...

Испуг в глазах семилетнего сына Валентина, горькая мука застыла в потемневших глазах жены, Марии Васильевны.

— Звери вы, а не люди! — зло ворчит домработница Анна. — Что вы делаете с больным ребенком? Куда вы его выбросили...

Один из участников обыска подает лейтенанту ученическую тетрадку, указывая пальцем сначала на обложку, а затем и на одну из страниц. У лейтенанта загораются глаза.



— Что это за условные знаки? — тыкая пальцем в тетрадку, спрашивает меня лейтенант.

— Вы же видите, что это ученическая тетрадь, а это — детские каракули...

— Рассказывай сказки! Почему она была спрятана под крышкой стола?.. Разберемся в другом месте! — сказал лейтенант.

Тетради прятал Валентин от Толи, который нередко их рвал или рисовал на них свои каракули. Вот эту «кромолу» и обнаружили под столешницей.

В моем кабинете лейтенант долго копался в библиотеке, просматривая каждую книжку и откладывая в сторону отдельные экземпляры. Затем началась перетряска ящиков письменного стола, а когда было покончено и с этим, лейтенант приступил к последней перкуссии — простукиванию стены за книжной полкой.

Ничего компрометирующего обнаружено не было, кроме разве что... ученической тетради. Лейтенант был недоволен результатами обыска.

— Опытный враг, никаких следов не оставил! — зло заявил он.

Из протокола обыска, составленного тут же, я узнал, что руководил всем этим лейтенант НКВД Федоров. Он же отнял у меня партийный билет, депутатские значки и удостоверения.

На дворе уже наступал рассвет. Боясь дневного света, как летучие мыши, лейтенант и его помощники торопились уйти. Не дав проститься с семьей, они, как клещами, схватили меня за руки с обеих сторон и повели. Ко мне бросились жена, сын Валентин, Анна; их грубо оттолкнули. Уже у порога я успел сказать жене:

— Не волнуйся, Мария, береги себя и детей. Я скоро вернусь.

— Напрасные надежды! У нас ошибок не бывает! На возвращение не надейся, — толкая меня в спину, сказал Федоров.

На улице ждала специальная автомашина. Велели подняться в темный кузов.

Вот и здание НКВД. За мной закрылись тяжелые входные двери. В большой комнате меня приняли другие работники НКВД, осматривая с ног до головы пронизывающими взглядами. Срезали пуговицы, крючки, отняли кожаный пояс, осмотрели во рту, ощупали подмышки, записали особые приметы. Двое взяли за руки, завернув их

за спину, третий с револьвером в руках шел позади. Привели в подвальную камеру внутренней тюрьмы.

Захлопнулась тяжелая железная дверь, щелкнул замок, стало зловеще тихо. С потолка цедился тусклый свет электрической лампочки, закрытой металлической решеткой.

В камере страшно воняло потом и мочой. Окна не было. Койка, столик и стул прикованы к стене и к полу. В углу — параша.

«Вот и подземное царство Аида», — подумал я, опустившись на железную койку с черным от грязи соломенным тюфяком.

«Что же произошло? — Мне хотелось все понять и осмыслить. — Я не преступник, за мной нет никакой вины. Почему же меня арестовали? Очевидно, какая-то клевета... Но тогда должен вмешаться ЦК КП (б) Б. Непременно вмешается. Ведь первый секретарь ЦК Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко критиковал прежнее руководство ЦК за попустительство органам НКВД у нас в Белоруссии... Если бы я в чем-то был виноват, — продолжал я свои мучительные раздумья, — то меня прежде всего должна осудить партия; сказать мне прямо о моей вине. Ничего подобного не было, парторганизация не разбирается, бюро ЦК тоже не обсуждало, а ведь я член ЦК КП (б) Б. Партийный билет отнял у меня при аресте лейтенант Федоров, а не бюро ЦК. Да и Верховные Советы СССР и БССР не могут остаться безразличными к аресту своего депутата, ведь это грубейшее нарушение Конституции. Прокуратура также не может допустить нарушения законности», — утешал я себя.

Однако другой, внутренний голос говорил: «Известно, брат, много случаев, что и членов ЦК и депутатов Верховного Совета сажают в тюрьмы, а партия, органы Советской власти остаются как бы в стороне... До чего же все это может дойти? Когда органам НКВД предоставлена неограниченная власть, карьеристы, нечестные люди, а то и враги, пробравшиеся в эти органы, могут погубить тысячи невинных людей. Неужели это допустимо в наших условиях? Да ведь и в органах НКВД работают коммунисты... Нет, никакой логики не получается... Разберутся, я уверен. Мне легко опровергнуть клевету и доказать свою невиновность. Здесь, в Белоруссии, я вырос, работал у всех на виду. На первом же допросе все это выяснится...»

Раздался резкий стук в дверь. Открылось вставленное



в нее небольшое окошко, и надзиратель молча подал чашку похлебки с куском хлеба.

Так я встретил 25 января 1939 года, свой первый день в тюрьме, не предполагая, что таких дней у меня будет одна тысяча сто восемьдесят.

---

## ПЕРВЫЙ ДОПРОС

В одиннадцать часов вечера со скрежетом открылась дверь камеры.

— Выходите, — скомандовал надзиратель.

Оделся, вышел, за порогом камеры двое конвоиров схватили и повели дальше; третий, с револьвером в руке, шел сзади.

В тюремном дворе легкие жадно вдохнули свежий морозный воздух. Подняв голову вверх, увидел на темном небе сияющие звезды, но тут же получил тычок в затылок и вздрогнул от холодного прикосновения металла.

— Опусть голову ниже, ничего рассматривать! — Два сильных конвоира крепче заломили за спину мои руки.

Войдя в помещение, мы поднялись по лестнице и пошли по длинному коридору. Конвоиры, будто на какой-то дьявольской прогулке, громко щелкали языками, щелчками пальцами и стучали связками ключей по пряжкам своих поясов. Тогда я не понимал для чего нужна эта «музыка». Оказывается, так оповещается наше продвижение по тюремному коридору, чтобы навстречу не вели других арестованных. В коридорах стоял какой-то крапивный запах. На душе было страшно тяжело, кровь стучала в висках, но уверенности я не терял. Вот сейчас откроется дверь, и я предстану перед объективной следственной комиссией, и все будет выяснено. Возможно, уже и разобрались, что я ни в чем не виноват.

Открыв дверь, конвоиры втолкнули меня в большую комнату. Здесь было несколько столов, за которыми сидело человек восемь работников НКВД. Несколько минут стоял посреди комнаты, и все пристально смотрели на меня. Затем предложили сесть. Со всех сторон посыпались вопросы. Я не успевал отвечать на них, но меня торопили:

— Быстрее отвечайте, что задумались?

— Назовите ваших знакомых!

— Кто ваши ближайшие друзья?

Изо всех сил стараясь сохранить спокойствие, я отвечал:

— Знакомых много, всех не перечислишь. Я в Белоруссии родился и вырос, меня знают многие, и я знаю многих.

— Не уводи нас в сторону, отвечай прямо на вопрос: кто твои знакомые?

— Мои знакомые — Пономаренко, Наталевич, Матвеев...

— Ты что тут дурака валяешь! Назови своих соучастников по вражеской работе!

— Врагом Советской власти и партии я никогда не был... Знаю только честных людей.

Один из присутствующих подходит ко мне и кричит: «Встать!», а затем плюет мне в лицо, сопровождая все это гадкой матерщиной.

— Ты еще в утробе матери был врагом народа! — добавил второй.

Как только меня не бодылали, подлый из подлейших, злейший враг народа, а потому меня давно следовало уничтожить... Все это ошеломило, огушило, не было сил слушать, слезы сжимали горло, сердце вырывалось из груди от обиды и гнева.

Мне казалось, что я попал в застенки злейших врагов Советской власти. Нервы были напряжены до предела, казалось, что я не выдержу, схвачу табуретку, на которой сижу, и начну колотить этих мерзавцев. Однако собрал в кулак всю свою волю, сдержался. Возможно, все их поведение было провокацией, рассчитанной как раз на мою несдержанность, чтобы со мной было легче разделаться.

— Скажите, где я сейчас нахожусь? — спросил я. — В органах, которые искренне уважал, или в фашистском застенке?..

Небольшого роста человек со шпалой в петлице подошел ко мне и ткнул кулаком в мой нос.

— Вот мы тебе разъясним сейчас, где ты находишься, — зло сжав зубы, сказал этот начальник. — Рассказывай о своих вражеских действиях, подлец!.. Мы заставим, все окажешь...

— Я требую прокурора... Я протестую против этого беззакония и произвола! Я депутат Верховного Совета. Кто дал вам право попирать советские законы и Конституцию? — задыхаясь от возмущения и обиды, говорил я.

От удара в затылок я сначала опустился на табуретку, затем свалился на пол, из глаз сыпались искры...



— Вот так будет! — сказал тот, что со шпалой в петлице.

— Ты враг народа, и разговаривают с тобой, как с врагом народа!

И плюнул мне в лицо под общий ехидный смех присутствующих.

Допросы продолжались, но я молчал.

— Отвечай! — кричали мне. — Мы тебе язык подмажем так, что все скажешь, мать твою!..

Никогда в жизни не думал, что существует такая многоэтажная матерщина, какую услышал здесь.

Сколько времени продолжался допрос, не помню. Одни допрашивающие уходили, другие приходили, а я по-прежнему сидел посреди комнаты. При этом каждый новый допрашивающий считал нужным как можно больнее унижить грубостью. От всего этого мутилось в голове.

На рассвете увели в камеру. Койка была убрана в стену, и я сел у железного столика на железный грибообразный стул. Шумело в ушах, звенело в мозгу. «Вот тебе и дан первый урок, а сколько их еще будет! Разбираться тут не будут, здесь будут бить, мучить, издеваться. Будут делать из тебя врага народа».

Я содрогнулся от мысли, что самое страшное — не мучения, не издевательства, а то ксено, которое ляжет на семью, на детей, на родных мне людей. Все мои недавние мысли об объективности, законности, вмешательстве ЦК КБ(б)Б, Верховного Совета и прокуратуры были смешны и глупы. По всему видно, что придется испытать горькую чашу до дна.

Склонившись над столиком, незаметно уснул. Очень хотелось спать, я почти сутки был на допросе. Сквозь сон услышал повелительный грубый голос: «Встать!» Но голова моя была настолько тяжела, что поднять ее я не смог. Открылась дверь, здоровенный надзиратель встряхнул меня за воротник.

— Вам говорят, что спать днем не положено! — и разъяснил мне порядок: — Спать разрешается с десяти часов вечера до шести часов утра.

Я стал ходить по камере: пять шагов в одну сторону, пять в другую. Невольно подумалось: сколько же километров придется пройти по этой тюремной бетонной тропе? Километр? Десять километров? Или сотни?

Глаза по-прежнему слипались, нестерпимо хотелось спать. Прислонившись к противоположной от двери стене, задремал.

— Не спать! Вам что было сказано! — гаркнул надзиратель, всунув лицо в дверное окошко. — Ежели будет открываться «глазок», вы должны поворачивать голову в сторону двери. Не будете исполнять — загремите в карцер, там узнаете, почем сотня гребешков...

Не думал и не подозревал я тогда, что физиологическую потребность человека в сне, в отдыхе будут безжалостно и бессовестно использовать следователи как сильнейшее средство давления на психику, на ослабление силы воли и рассудка.

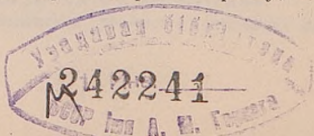
Тяжелые мысли не давали покоя. В чем же я виноват? Какое за мной преступление? Я ходил по камере, думал, перебирал, взвешивал свои дела и поступки. Никакой сознательной, преднамеренной провинности у меня нет. Может, в чем-либо ошибся? Это возможно. Работа председателя Совнаркома сложная, особенно в тех условиях, в которых мне пришлось работать: кадров опытных не было, наркомы на своих местах не задерживались, не с кем было посоветоваться. В этих условиях мог недосмотреть, упустить что-либо. Но злонамеренных действий за мной нет, советеи моя чиста. Неужели же можно взять честного человека и заставить его клеветать, возводить ложь на себя и на других? Нет, клеветать не буду. Я выдержу, не сдамся! Буду бороться за свою честь, за достоинство коммуниста. Это мой долг перед партией, перед моими избирателями.

В десять часов вечера надзиратель в дверное окошко глухо буркнул «отбой». Заскрежетала железная кровать, поворачиваемая рычагом из коридора.

Не раздеваясь, лег на вонючий матрац, в котором когда-то была солома, а теперь — пыльная мякина. Наброеил на плечи свое кожаное пальто, а ноги укрыл порванным тюремным одеялом.

Уснул тяжелым, кошмарным сном... Раздался резкий стук железа в дверь, надзиратель объявил «подъем». Было шесть часов утра. В камере холодно. За отопительной батареей, забранной решеткой, шуршали тараканы. Койку убрали в стену. Теперь бодрствуй, измеряй шагами камеру. Я начал заниматься физзарядкой, но дверь резко открылась, и надзиратель с широким ртом и большими желтыми зубами язвительно сказал:

— Вы эти фокусы бросьте, здесь вам не спортивная площадка, а тюремная камера... Берите парашу, идите в туалет умываться.





Затем надзиратель подробно наставляет меня, как нужно вести себя в уборной:

— За собой чисто убирать, вымывать парашу вот этим раствором два раза в день. Находиться в уборной — не больше семи минут.

Несколько суток меня не вызывали. Опять стал утешать себя мыслью, что я не преступник и бояться мне нечего. Волновала участь семьи, больной сынишка Анатолий... Он еще маленький и ничего не понимает. Валентин видел и чувствовал весь ужас ареста. Как перенесет его детская душа, в первый раз увидевшая зло во всей его гнусности? Жена моя, Мария Васильевна, тоже совсем больная. Хватит ли у нее сил, мужества перенести такой незаслуженный позор? Надо наперекор всему бороться за свою честь, а это означает — и за них тоже.

Меня по-прежнему не вызывали. От гнетущего одиночества, от тоски стал изучать камеру, осматривать стены, потолок. На стенах, в углах, на полу обнаружил немало надписей.

Надписи, судя по всему, стираются надзирателем, но в отдельных местах они все же сохранились. Содержание было самым различным. «Брючок — стукач, опасайтесь», — предупреждала одна надпись. Что такое «стукач», я в то время не знал. Лишь позже понял, что это доносчик, клеветник, провокатор. «Жизнь кончена, прощай, Лида», — гласила следующая надпись. А под столом чем-то острым нацарапано: «Сопротивляться бесполезно, надо выжить»... Там же, только ниже, слова, от которых мороз по коже: «Чем больше будет арестованных в тюрьме, тем лучше, скорее образуются...» Как пришел человек к такому? Я искал оправдание этому: очевидно, после долгой и упорной борьбы человек не выдержал, сдался. У каждого есть предел терпения, как бы тверд и закален он ни был.

Иногда доносился четкий стук в стену из соседней камеры. Стук был размеренный, с интервалами. Тогда я не понимал его значения. Потом узнал, что выстукивание условными знаками — это язык узников, тюремный разговор. Перестукивание строго наказывалось карцером, но за общение, пусть даже такое, соглашались и на карцер.

## «ВРАГ, СДАВАЙСЯ!»

Для подследственного ночь в тюрьме — это часы напряженного ожидания, бессонной тревоги. Думаешь о вызове к следователю. Иногда засыпаешь нервным, беспокойным сном, но при малейшем шорохе у двери вздрагиваешь, как от укола.

Заскрежетал ключ в замке, открылась железная дверь. «На допрос выходи», — гнусавя, сказал надзиратель. За порогом — это мне уже хорошо знакомо — двое хватают за руки, заворачивают их за спину, третий идет сзади с револьвером в руках.

Теперь меня вели уже по другому коридору. На поворотах, на площадках лестниц стояли вертикальные будки. Надзиратели, как и прежде, пощелкивали пальцами и били ключами по металлическим держкам своих поясов.

Послышались также же сигналы навстречу. Меня впахнули в будку. Когда ватробитый конвой, громыхая сапогами, прошел, велели выйти и повели дальше.

Где-то в конце коридора раздавался крик мужчины и плач женщины. Как ударом молнии меня пронзила мысль — не Маруся ли это? Меня трясло, как в лихорадке. Я готов был бежать туда, откуда слышался плач, но попробуй разбежись...

Привели в кабинет следователя. Яркий электрический свет на мгновение ослепил глаза. За столом сидел молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми. Перед ним лежала развернутая папка с бумагами. Я стоял у двери и внимательно рассматривал следователя, с которым мне придется сражаться на допросах.

Во внешности его не было ничего примечательного. Шатен, с гладко зачесанными волосами, лицо невыразительное, с острым подбородком, лоб невысокий, жидкие брови прикрывали глубоко сидящие, ничего не выражающие глаза.

Он поднял голову, и наши взгляды встретились.

— Садитесь, вот там будет ваше постоянное место, — кивком головы он показал в угол, где стоял массивный табурет. Сидя на нем, я убедился, что он прикован к полу. «Предусмотрительно, — подумал я. — Возможно, были случаи, когда этот табурет летел в следователя».

Следователь не представился. Начал с обычных вопро-



сов: фамилия, имя, отчество. Закончив формальную часть, сказал, потирая руки:

— Ну, давайте, рассказывайте о своей вражеской деятельности. Как вы попали в это осиное гнездо?

Я молчал.

— Не надейтесь, отвертеться не удастся, нам все известно. Судьба ваша предрешена, будете осуждены как злейший преступник. Только чистосердечным признанием вы можете облегчить свое положение, — с видом победителя заявил следователь.

— Сегодня шестые сутки с момента моего ареста. Мне до сих пор не предъявлено обвинение. В чем вы меня обвиняете? — спросил я.

— Вы враг и арестованы за вражескую деятельность, — ответил следователь.

— Все это пустые слова. Я требую прокурора и в его присутствии хочу выяснить...

— Не советую так себя вести. В ваших интересах признаться во всем, подробно рассказать следствию, назвать своих соучастников по вражеской работе. Всякое упрямство только усугубит вашу вину.

— Скажите, что с моей семьей? Где жена, дети?

— Вот-вот. Что семье узнаете, и для семьи будет лучше, если во всем признаетесь, — как-то ободрившись, сказал следователь.

— Я не знаю, в чем вы меня обвиняете. До тех пор, пока здесь не будет прокурора и я не буду знать, что с моей семьей, на ваши вопросы я отвечать не буду.

— Ах, вот как! Ну мы вас заставим... Заговорите, только поздно будет каяться.

Я молчал. Следователь встал из-за стола, подошел ко мне.

— Как сидишь, скотина! Развалился, подлец! — ткнул сапогом в мои ноги. — Ты должен сидеть прямо, ноги согнуты в коленях, руки согнуты и должны лежать на коленях. Сядь как полагается!

В кабинет вошел тот, который на прошлом допросе плевал мне в лицо. Как я узнал потом, это был начальник следственной части Сотиков. При его появлении следователь дал команду «встать», и я встал.

— Что, продолжаешь упорствовать? — зло спросил Сотиков.

— Тебе, Ковалев, отпираться бесполезно. Нам все известно. Ты должен написать не менее тысячи листов

своих показаний. Мы дадим тебе бумагу, отведем место. Садись и пиши...

— Мне нечего писать, я ни в чем не виноват, и вы это знаете. А клеветать на себя и на других не буду,— отвечал я.

Сотиков взорвался, забегал по кабинету.

— Кто требует от вас клевету? Что вы оскорбляете органы?.. Вы враг, и от вас требуют правдивых показаний о вражеских действиях. Мы вас заставим говорить! — не унимался Сотиков.— Подлец, б..., расколешься!..— И как из вонючего ушата полились гнусная похабщина и сквернословие.

— Продолжайте активный допрос!— приказал он следователю и вышел из кабинета.

Начался «активный допрос». Следователь кричал: «враг народа, подлец, мы тебя уничтожим...» Затем он стал расхаживать по кабинету, стучать кулаком по столу и кричать над моей головой: «Враг, сдавайся!»

Когда следователь уставал, ему на смену приходил другой. Снова — ругань, угрозы, запугивания. Из этого активного допроса я понял, что следствие не имеет никаких конкретных материалов, уличающих меня в каком-либо преступлении. Очевидно, у них имеются какие-то клеветнические, ложные показания, но они, как видно, неубедительны и получены вот таким же насильственным путем. И от меня будут требовать, чтобы подтвердил эту клевету, наговорил на себя. Нет! Не будет этого! Пусть лишат даже жизни...

Где-то за дверью зазвенела цепь. После своего очередного отдыха вошел следователь.

— Что, скотина, молчишь? — с новой нахрапистостью накинулся он на меня и больно ударил по лицу.— Мы с тебя снимем твою поганую шкуру!

Мучили до семи часов утра. Отправляя в камеру, следователь назидательно сказал: «Идите, в камере хорошенько подумайте, стоит ли дальше сопротивляться, если хотите сохранить себе жизнь».

Придя в камеру, я не мог стоять на ногах. Хотелось приклонить голову, закрыть глаза и хоть немного отдохнуть, поспать, но койка убрана в нишу стены... Закружилась голова, я опустился на бетонный пол и провалился в какое-то кошмарное забытие. Как открылась дверь камеры, как вошел надзиратель — не слышал. Проснулся от его ударов и матерщины. Он стоял надо мной и бил сапогом в бок, приказывая встать.



— Вам говорили, что спать после подъема нельзя, запрещается! Запомните это! Берите парашу и идите, в уборную!

В уборной освежил лицо водой, стало немного легче, воздух здесь был лучше, чем в камере. Попытался немножко размяться, но тут же последовал окрик: «Прекратить! Выходите!»

Несмотря на строгий запрет заниматься физическими упражнениями, я все же продолжал свои разминки. Чтобы упредить надзирателя, становился лицом к двери, внимательно следил за «глазком» и начинал свои занятия... Постепенно до того наловчился, что эти усердные стражи редко когда заставляли меня врасплох.

Так изо дня в день, из ночи в ночь. В десять — одиннадцать часов вечера следовал вызов на активный допрос, длившийся до семи утра.

Долго в одной камере-одиночке меня не держали. Стремясь измотать мои физические силы, сломить мою волю, меня переводили из одной камеры-одиночки в другую, худшую, без естественного света, без притока воздуха, вонючую и грязную.

Одинокая камера — это одиночный склеп-гроб, в котором я должен бодрствовать с семи часов утра до одиннадцати вечера — двенадцать часов, а ночь браться со следователем на допросе.

Никакого официального обвинения еще не предъявлялось. Требования только одного: чтобы я сам признал себя врагом народа. Следовательно Исаев, фамилию которого я узнал из протокола допроса, кричал над моей головой: «Враг, сдавайся!»

Много лет спустя я узнал, что существовало правило: двух показаний достаточно, чтобы считать человека виновным. Каковы эти показания: клеветнические, лживые или достоверные — этим в следственных органах особенно никто не интересовался. Важно было также добиться признания самого арестованного.

Это незаконное творил тогдашний Государственный прокурор СССР А. Я. Вышинский. Он по существу оправдывал применение физических мер воздействия на допросах и признание самого арестованного при наличии двух показаний против него считал достаточным доказательством виновности.

Мне также стало затем известно, что по предложению В. И. Ленина ВЦИК СССР 26 мая 1922 года принял «Положение о прокурорском надзоре». Путем прокурорского

надзора за ходом следствия и суда следовало пресекать любое беззаконие. Вышинский же, пользуясь высоким доверием, толковал законы в угоду тем, кто творил произвол. Вот что говорил о Вышинском Александр Владимирович Галкин, член большевистской партии с 1904 года, соратник В. И. Ленина, несколько лет возглавлявший Верховный суд СССР: «Социалистическая законность — основа государственного, а значит, и партийного в нашей стране благополучия. Так было при В. И. Ленине и затем после его смерти. Но вот теперь прокуратура в руках карьериста, бывшего завязаного меньшевика Вышинского. Этот человек без сердца и совести может оказаться роковым для советской юстиции. Он способен на любое подлое дело ради своей выгоды. В партии он чужак, она ему не дорога». А. В. Галкин был арестован и расстрелян. Сейчас он посмертно полностью реабилитирован и восстановлен в партии.

Вернусь, однако, к тем печальным дням.

— Ну, как бодрствовали? Отдохнули? — весело-наигранным тоном спросил Исаев на очередном допросе. — Теперь займемся вами по настоящему, посмотрим, как вы запоете. — И важно, с видом победителя, стал читать обвинение. Чего здесь только не было! Из меня делали активного участника антисоветского подполья, причисляли к правотроцкистскому центру, ставяшему своей целью свержение Советской власти в Белоруссии, отторжение ее от Советского Союза и создание в Белоруссии буржуазно-националистического правительства, во главе которого, по замыслу составителей обвинения, стою я. Далее меня подозревали в организации террористических и диверсионных актов против руководителей Советской власти и партии, подрыве народного хозяйства и еще в чем-то подобном.

Исаев как-то даже торжественно называл статьи и параграфы, по которым мне предъявлялось обвинение. Каждое слово произносил твердо, звучно, как будто заколачивал в стену гвозди. Отдельные места ему, видимо, были очень по душе, он читал их с расстановкой, не спеша, наслаждаясь как содержанием, так и своим положением палача, изрыгающего гром и молнии на голову своей жертвы. Я слушал и думал: «Неужели есть люди, облеченные властью, которые верят в эту галиматью?»

Если бы я не был арестован и меня не водили на допросы под дулом пистолета, предъявленное обвинение я принял бы за фельетон шизофреника. Но... меня обвиняют по таким статьям, которые ведут к расстрелу. Задумана



чудовищная провокация — показать народу, какую матерую группу «врагов народа» удалось разоблачить, какие немыслимые преступления они хотели совершить...

Всю эту галиматью состряпал нарком внутренних дел БССР Цанава с полного согласия секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко. Цанава и его приспешники мечтали о продвижении по службе. Пономаренко жаждал славы. Вот и была придумана версия о крупной группе «врагов народа», которая должна была состоять из руководящих работников Белорусской ССР. Много невинных людей было втянуто в эту провокацию. Меня же решили сделать главным действующим лицом этого провокационного дела.

До меня были арестованы мои заместители по Совнаркому И. Г. Журавлев, А. И. Темкин, председатель ЦИК БССР М. О. Стакун, наркомпрос В. И. Пивоваров, секретарь ЦК КП(б)Б В. Д. Потапейко. После меня арестовали второго секретаря ЦК КП(б)Б А. А. Ананьева.

...Вспоминалось мое назначение Председателем Совнаркома Белоруссии. Обстановка была крайне сложной. В большинстве наркоматов не было наркомов, работали «врио» — временно исполняющие обязанности наркома. Не был укомплектован аппарат Совнаркома и Госплана.

В конце мая 1937 года был арестован Председатель СНК БССР Я. М. Голодец. Его заменил на этом посту Д. И. Волкович, а через три месяца и его арестовали как «врага народа». Были арестованы их «единомышленники» и «соучастники». Мне достался аппарат обескровленный, запуганный, недееспособный. Работники аппарата имели весьма угнетенный и приниженный вид. В тот первый день работы я зашел в кабинет к секретарю ЦК КП(б)Б А. А. Волкову, который тоже увеличивал число «вридов» в государственном и партийном аппарате. Волкову достался разгромленный аппарат ЦК КП(б)Б. Секретари В. Ф. Шарангович, Н. М. Денискевич и многие другие работники в июле — августе 1937 года были арестованы. Обстановка сложилась исключительно трудная — дел много, работать некому. От А. А. Волкова, как исполняющего обязанности первого секретаря ЦК КП(б)Б, требовалась большая сила воли, высокая партийная принципиальность и здравый рассудок. К сожалению, он часто срывался на мелочах, упуская главное.

Первое время в работе СНК мы считали самым важным и неотложным подбор кадров. В наркоматы и управления пришли новые люди. И. Г. Журавлев и Н. А. Ананьев работали, не жалея сил, они были для меня надежной опорой.

К сожалению, эта опора быстро сломалась. Но об этом позже...

— Признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях? — с ехидной улыбкой спросил Исаев.

— Нет, не признаю! Все это выдумка от начала и до конца. Все это грязная ложь! Скажите, вы сами верите в то, что прочитали мне? — спросил я Исаева.

— Молчать, подлец! Ты живым отсюда не выйдешь! И тебе не удастся унести в поганую могилу свои вражеские дела...

...Он в ярости вскочил, подошел ко мне. На его лице было выражение хищного зверя, готового разорвать свою жертву. Он топал ногами, плевал мне в лицо.

На ругань, матерщину и прочую похабщину я не стал реагировать. Исаев это понял. Тогда он усадил меня на табурет, поставил свою ногу между моих ног, и наклонившись над моей головой, в ухо кричал: «Враг, сдавайся! Враг, сдавайся!» При этом он больно пинал меня носком своего сапога ниже живота и дергал волосы на голове.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ  
ОТНИМЕТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ

Следствие продолжалось. Дни шли за днями, месяцы за месяцами. Исаев применял все новые методы принуждения и с воловьим упорством добивался нужного ему результата. А так как добиться ничего не мог, выходил из себя, зверел, теряя все человеческое. Он стремился измотать меня, парализовать волю, довести до состояния полного безразличия и таким способом воспользоваться моей подписью в подтверждение ложных показаний. За каждую мою подпись в протоколе допроса шла упорная борьба. Я не подписывал того, что хотелось Исаеву. И он нервничал. Ночью мои силы иссякали, нервы доходили до предела. В висках стучало, в голове шумело. Но надо устоять, не дать им ни малейшей зацепки, чтобы подмять меня и растоптать.

Исаев был совсем молодым человеком, младшим лейтенантом. Очевидно, недавно закончил школу, где его готовили для работы следователем. Неужели же в этой школе готовят только таких следователей?..

Исаев, несомненно, считает себя патриотом, может, он коммунист? Неужели он серьезно верит в мою виновность?



Ведь все обвинение шито белыми нитками! Должна же шевельнуться в нем хоть маленькая мыслишка: а вдруг Ковалев и в самом деле не виноват? Ведь то, что ему предъявляют, никак не вяжется с житейскими фактами. С какой стати он будет свергать Советскую власть, создавать национально-буржуазное правительство? Он, уроженец Белоруссии, выходец из бедной, многодетной крестьянской семьи, поднялся до высокого государственного положения, был облечен высокой властью, стоял во главе народного правительства республики. Зачем же ему национально-буржуазное правительство? При таком правительстве его повесят на первой же осине.

Но Исаев оставался Исаевым. Именно таких служаков порождала и атмосфера, создававшаяся в тот период в органах НКВД. Всячески поощрялся тот следователь, который добивался быстрее «признания» своего подследственного. Исаев, желая выслужиться, тоже всеми средствами стремился, по его выражению, «расколоть» меня. Ему не терпелось скорее закончить с «большим врагом народа» и, получив похвалу, повышение, приняться за следующую жертву. Начальник следственной части Сошкин уже получил награду — орден Красной Звезды.

Видя, что угрозы, крик: нажим ничего не дают, Исаев сменил тактику.

— Признай обвинение, оставим тебя в покое. Будешь спать. Разрешим книги, свидание с женой, передачу, — уговаривал он меня. — Чистосердечное признание, раскаяние будет учтено судом. Много не дадут. — Далее елеинным голосом Исаев даже пообещал, что он поспособствует, чтобы для отбывания срока наказания меня оставили в Минске.

Однажды, на очередном ночном допросе, я увидел Исаева в каком-то приподнятом настроении. Он в упор смотрел на меня, собираясь сообщить что-то новое.

— Если вы не хотите сами писать, как предлагал вам начальник следственной части, так вот здесь все написано, вам остается только подписать. — И, показав мне на объемистую папку на столе, добавил:

— Садитесь к столу, читайте и подпишите. Делу будет конец и пойдете спать!

Я начал читать машинописный текст и не поверил своим глазам. Я признавал себя виновным по всем статьям и параграфам. Заодно разъяснял, как стал на преступный путь, кто меня втянул, кого я втянул и завербовал. Упомянулись имена и фамилии людей, которых я никогда не знал и не встречал.

Смог прочитать лишь несколько страниц. От гнева, возмущения в глазах потемнело, спазмы сжали горло, лицо налилось кровью.

— Все, что здесь написано, — страшная ложь! Я никогда эту писанину не подпишу! — крикнул я и, скомкав листы, бросил их в лицо Исаеву.

Я не в силах описать того, что было после. Помню, что по сигналу Исаева в кабинет вошли двое здоровенных мужчин. Первый удар был в голову, дальше... трудно передать.

Пришел в себя в камере, лежа на цементном полу. Все тело страшно болело.

На следующем допросе Исаев встретил меня издевательской улыбкой, спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— Я требую прокурора, — ответил я, — вы творите подлое беззаконие.

— Прокурора мы вам дадим только тогда, когда следствие будет закончено. Теперь все зависит от вас. Подпишите, и дело будет закончено. И не советую употреблять такие словечки, как «беззаконие». Как бы не было хуже для вас! Знаете, что сказал Горький о врагах народа? Если враг не сдается — его уничтожают. — Произнес слово «уничтожают», Исаев грохнул кулаком по стене, будто кого-то убивая.

— Ваши дела и Горький! Не консультируйте! — вспылил я. — Горький говорил это о фашистах, он ненавидел фашизм, называя фашистов двуногими зверьми, убийцами, злейшими врагами человечества. Вот о каких врагах говорил Горький.

— Встать! — приказал Исаев. — Нечего сидеть! Будешь стоять.

Всю ночь я простоял в его кабинете. Исаев что-то молча писал, сидя за столом. Затем ушел, его сменил другой, того — третий, а я продолжал стоять. Слипались глаза, шея не удерживала тяжелую, как свинцом налитую голову, она валилась на грудь, все вокруг начинало зыбко покачиваться, я падал на пол. Следователь лил мне воду на голову и пинком сапога в бок подымал...

Допросам, казалось, не будет конца. Меня приводили с вечера в душную, натопленную комнату. Я стоял, одетый в кожаное пальто с меховой подкладкой, в сапогах. Истекал потом. Под утро страшно хотелось спать. Прислониться к стене не разрешалось. Я падал. Меня подымали, лили



воду на голову. Следователи поочередно отдыхали, а я все стоял.

Видя, что я теряю силы, Исаев, очевидно, решил, что стоит еще немного поднажать и подследственный сдастся. Он выхватывал отдельные факты, касающиеся моей работы в Совнаркоме, давал этим фактам превратное толкование, домысливая ложные подробности, заносил это в протокол допроса, а затем требовал подтверждения виновности. Стараясь меня запутать, Исаев тасовал вымышленные обвинения, словно карты в колоде, — авось, я запутаюсь, запротиворечу сам себе, смирюсь. Наконец стал вести протокол допроса иначе: вопрос — ответ — моя подпись и т. д.

— Мы хотим проверить вашу искренность и кое-что уточнить. После каждого моего вопроса будете отвечать и подписывать, чтобы не могли потом отрицать, — заявил Исаев.

— Где и когда вы познакомились с бывшим секретарем Витебского горкома партии Журавлевым?

— Когда он завербовал вас в контрреволюционную организацию?

— Какие у вас были взаимоотношения с бывшим секретарем ЦК КП(б)П Потаповым?

— Когда вы вступили в контрреволюционную организацию и кого завербовали в нее?..

Однажды Исаев, грозно насунив свои жидкие брови, заявил:

— Я вас уличаю во лжи. Три дня назад на этот вопрос вы ответили вот так... а теперь отвечаете иначе — вы лжете!

— Лгать я не могу, так как за мной нет вины, — отвечал я, — а если где-то неточно ответил, то в этом не моя вина, а ваша. Вы довели меня до того, что я не могу порой отчетливо мыслить и точно отвечать на ваши запутанные вопросы.

Я не знал тогда, что после четырех часов допроса подследственный имеет право сделать заявление с занесением в протокол, что он устал и не может нести ответственность за свои ответы на последующие вопросы следователя.

После девятисуточного стояния на допросах ноги и руки распухли, лицо отекло. Я с трудом передвигался. Ноги не вмещались в штанины, пришлось разорвать их до колена, а на ноги надеть галоши, которые носил раньше на сапогах. Физически я был почти сломлен, духовно — нет.

В таком виде я и предстал перед наркомом внутренних

дел БССР Л. Ф. Цанавой. Он пожелал лично допросить меня.

Посреди кабинета, куда меня ввели, стоял длинный стол, в конце которого сидел небольшого роста человек. Черный, с большим носом.

Цанаву я встречал будучи на свободе, на совещаниях в ЦК КП(б)Б, которые проходили в кабинете П. К. Пономаренко. Теперь вот я стоял перед ним как подследственный. По моему виду он мог судить, как старательно потрудились его подчиненные.

«Вот он стоит передо мной, опухший, оборванный, шатается от изнеможения, а признаваться не хочет... Нет, я его заставлю, мне он скажет!» — читал я в блестящих от злобы глазах Цанавы, которые глядели на меня в упор.

— Да, как видно, живется вам тут неважно, комфорт тут тюремный, самый подходящий для врагов народа, ха-ха-ха, — ехидно смеялся Цанава. Ему угодливо улыбались присутствующие здесь же работники старшего состава аппарата НКВД.

Цанава, довольный своим остроумием, продолжал некоторое время молча рассматривать меня с ног до головы, потом изрек:

— Нам нет необходимости вазиться с тобой, нам все известно. Ты, безусловно, враг, и будем судить, как врага народа. Но мы хатим облегчить твою участь тем, что ты чыстасердэчна расскажеш о своей враждебной работе...

Это были те же слова, которые много раз говорил следователь. Ничего нового. Это еще больше убеждало меня, что обвинение построено на клевете.

В душе я радовался, что сильнее их, что на моей стороне правда.

— Ты должен правдиво рассказать все, — продолжал Цанава. — От нас ничего не скроешь. Гавары!

— Мне нечего скрывать! — ответил я. — Вам, как и следователю, я говорю только правду. Лично вам хочу кое-что добавить.

При этих словах Цанава даже вытянул шею, выпучил глаза, весь напрягся.

— Вот-вот. Давай, все рассказывай!

— Врагом Советской власти, ленинской партии я никогда не был и не буду. Произвол, который творится в этих стенах, — это грубейшее нарушение советских законов! — сказал я. — Вы говорите, что все знаете и можете судить меня. Так судите открытым, гласным судом, где бы я мог выступить перед народом, перед моими избирателями, ко-



торые выбрали меня депутатом Верховного Совета СССР и БССР, чтобы я мог сказать, что все предъявленные мне обвинения построены на лжи и клевете...

Цанава стукнул кулаком по столу, лицо его налилось кровью, а черные усы неестественно шевельнулись.

— Хватит! Мы тебя сейчас разоблачим. Введите сюда Пивоварова! — крикнул он.

Ввели Пивоварова, бывшего наркома просвещения БССР. Его арестовали раньше меня и так обработали, что, если бы не была названа фамилия, я бы его не узнал: живой скелет с горящими, воспаленными глазами. Голова втянута в приподнятые плечи. Он с трудом передвигал ноги.

Я был поражен видом этого человека, которого я знал здоровым, жизнерадостным и совсем молодым. Сейчас передо мной сидел немощный старик, в душе которого все потухло, и исчезла та сила, которая может управлять.

— Знаете вы этого человека? — спросил Цанава Пивоварова, указывая пальцем на стену.

— Да, — ответил Пивоваров, — я знаю его как бывшего Председателя Совнаркома БССР.

Обращаясь к Пивоварову, Цанава предложил рассказать о контрреволюционной деятельности в области народного просвещения в Белоруссии.

Пивоваров вздрогнул, точно его кольнуло чем-то острым, и, опустив голову, стал как-то заученно говорить о том, что, будучи наркомом просвещения, он сознательно срывал школьное строительство, засорял состав учителей своими единомышленниками... Пивоваров говорил такую несуразицу, что мне казалось, что он ненормальный.

Цанава смотрел на него с торжествующим видом, стремясь повторить отдельные места этого бреда. Пивоваров отвечал, что говорит правду — он сознательно занимался вредительством.

Я не верил своим ушам: настолько все это было нелепо.

— Знал ли Ковалев о вашей вредительской работе? — спросил Пивоварова Цанава.

— Всех подробностей Ковалев не знал, однако при обсуждении в Совнаркоме вопроса о средствах на школьное строительство Ковалев уменьшил эти суммы...

Наконец Цанава задал Пивоварову самый важный вопрос:

— Какие вредительские задания давал вам лично Ковалев?

— В своем кабинете Ковалев поручил мне засорять белорусский язык русскими словами и для этой цели велел

приступить к пересоставлению белорусско-русского словаря. Но мы не успели приступить к составлению этого словаря, — несколько смутившись, сказал Пивоваров.

— Об этом вас не спрашивают, — зло сказал Цанава и перевел взгляд на меня, как бы говоря: «Ну что ты теперь скажешь?»

Пивоваров проработал наркомом всего восемь месяцев. За это время он не мог по-настоящему разобраться во всех деталях работы наркомата, не узнал людей, мало где побывал на местах. Когда я услышал весь этот вздор о его «сознательном вредительстве», мне стало жаль этого человека. Как искалечили его морально и физически! Ему было все равно, что говорить и как говорить. Только бы его не били, не издевались.

Человек, как известно, очень боится боли. Гальванизированный болезненным страхом, он может наговорить, что угодно. Именно так и подготовили Пивоварова к очной ставке со мной.

Задавать Пивоварову вопросы мне запретили. Он подписал протокол, и это уведи.

Цанава с видом победителя заявил, что мне бесполезно отпираться, лучше, как и Пивоварову, признаться в своей вредительской, контрреволюционной работе.

— Все, что я слышал здесь, — вздор, глупейшая ложь, и вы, гражданин нарком, это хорошо знаете.

Цанава вскочил из за стола, пробежал по кабинету. Остановился возле меня, затопал ногами, закричал:

— Ты подлец, ты злейший враг!

— Я честный человек, а вы совершаете враждебное дело, — отвечал я.

Цанава пришел в ярость.

— Уведите эту сволочь. В карцер его!

Конвоиры схватили меня за руки и поволокли по коридору. Карцером оказался бетонный колодец в три шага длиной и три шага в ширину, где-то в глубоком подземелье. Под потолком светится слабая электролампочка, спрятанная в плотную проволочную сетку.

От побоев болели плечи, не держалась голова, тяжелели опухшие ноги и руки. К стене не прислонишься, так как она покрыта липкой плесенью.

С потолка капает вода. По густой плесени стен текут ледяные зеленые струи. Нет ни кровати, ни стула. Ни сесть, ни лечь. В углу стоит заплесневелая параша. Рядом с нею, у стены, лежит рваный соломенный тюфяк, тоже мокрый....



Мною овладело какое-то нервное напряжение, сжалось сердце, кровь стучала в висках, а мозг точила одна неотвязная мысль: «За что? Какое преступление я совершил?»

Пять суток меня не вызывали на допрос. Не выводили на прогулку. Вся одежда на мне наскость отсырела.

Стояла гробовая тишина. Этот «колодец» находился где-то под зданием НКВД, вблизи улицы. В этой тишине я иногда улавливал отдельные звуки с улицы. Сознание близкой свободной жизни тяжело отзывалось в душе.

Дать человеку почувствовать звуки свободы — это тоже тщательно продуманная система истязания души.

Преодолевая боль в опухших ногах и руках, я заставлял себя двигаться. Шагал на месте, делал повороты, наклоны, взмахи рук. И все это ради одного: сохранить, изо всех сил сохранить спокойствие и уверенность. Потерю присутствие духа — пиши пропало.

На допрос меня вели по-прежнему трое конвоиров.

— А ну быстрее! Вправо! Влево! Ниже голову!

Цепкими пальцами они держали меня за руки, толкая из стороны в сторону, как мешок с костями. В таком состоянии трудно, конечно, сохранить спокойствие и уверенность. Но на моей стороне Правда! Это укрепляло меня и придавало силы.

— Ну, как отдохнули? Поправилось новое жилье? — с ехидной ухмылкой спросил Исаев, когда меня привели на допрос.

— Мы дали вам время подумать, не беспокоили. Может быть, вам мешали думать шаги людей, проходящих по тротуару? Ведь вы слышали шаги проходящих людей? Жизнь идет, — продолжал Исаев, — и вы также свободно ходили бы, да враги вас запутали, а вы не хотите нам помочь их разоблачить.

Посадив меня у стола, сказал:

— Вот подпишите это, довольно упрямится! Подпишите, и мы создадим вам лучшие условия, переведем в сухую камеру, дадим книги, разрешим передачу, а может быть, и свидание с женой.

— Не могу я подписать клевету на людей и на себя. Это единственное право, которое у меня сейчас есть. И право это может отнять у меня только смерть, — стоял на своем я.

Несколько минут Исаев зло смотрел на меня, меняясь в лице, а затем, перейдя на «ты», гаркнул:

— Встать! Будешь стоять, негодяй! Мы тебя сгноим!..

Опять «конвейер». Следователи меняются, а я стою всю ночь. И опять головокружения, опять — вода на голову...

Лишив меня сна, Исаев еще больше ожесточил пытку. Сидя за своим рабочим столом, покрытым большим стеклом, он гвоздем скрежетал по этому стеклу. Непрерывный скрежет как ножом резал по нервам, больно колот в мозг, приводил в дрожь. Состояние такое, что не находишь себе места, тебя всего трясет, хоть на стену лезь!

Я просил, умолял следователя не делать этого.

— Лучше бейте меня, но прекратите этот скрежет! — говорил я.

Оскалив зубы, Исаев наслаждался моими мучениями, стремясь довести меня до состояния невменяемости. Когда ему казалось, что он достиг этого, он приступал к составлению протокола допроса.

— Вы обвиняетесь в проведении вредительской деятельности в народном просвещении. Вы разоблачены показаниями Пивоварова, вашего соучастника. Признаете себя виновным? — напирал Исаев.

— Нет, не признаю. И прошу проверить документы, находящиеся в делах Совнаркома об отпуске средств наркомпросу. Прошу допросить наркома финансов БССР Степанова...

— Молчать! — заорал Исаев. — Отвечайте на мои вопросы...

Жестокое сражение продолжалось до рассвета.

Исаев, старший следователь Лебедев и начальник следственной части Сотиков категорически отвергали мое ходатайство о проверке документов и допросе свидетелей, требовали беспрекословного признания предъявленных мне обвинений.

Цанава, видимо, информировал руководство ЦК КП(б)Б и лично П. К. Пономаренко о ходе следствия по моему делу. Вмешиваться оттуда не спешили...

...Я не признал себя виновным ни по одному пункту предъявленных мне обвинений.

Поздно ночью загремел замок моей камеры. Открылась дверь, надзиратель сказал: «Выходи!»

Привели в помещение, где раньше я не был. Небольшая комната. За столом сидел блондин лет тридцати. Жестом руки велел сесть. Блондин представился старшим следователем Лебедевым.

— На что вы надеетесь? — кричал Лебедев. — Упрямство только ухудшит ваше положение... Вы злейший преступник... Если не расскажете честно о своих вражеских действиях, вас расстреляют.

— Мне не о чем говорить, я не преступник, — отвечал я.



Лебедев принял серьезный вид и после некоторой паузы спросил:

— Где вы встречались с Ворошиловым?

— С Ворошиловым я встречался много раз. Встречался, когда Ворошилов избирался депутатом Верховного Совета СССР, здесь, в Минске. Я сопровождал его в поездке по Белоруссии. Встречались на сессиях Верховного Совета СССР в Москве.

— А еще где? — нетерпеливо допытывался Лебедев.

— Встречался на военных маневрах Белорусского военного округа в 1937 году. Тогда же сопровождал его в поездке по Белоруссии.

— Вот-вот, это нам и нужно! Охотились в полесских местах?

— Нет, никакой охоты не было, — ответил я.

— Врешь! Нам все известно! — стукнув кулаком по столу, крикнул Лебедев. — Вам предъявляется обвинение в подготовке террористического акта.

Для меня становилось очевидным, что Цанава, чувствуя явную зыбкость предъявленного мне ранее обвинения в подготовке свержения Советской власти в Белоруссии, решил «приобщить» меня новым, дополнительным чудовищным обвинением: в подготовке террористических актов против руководителей партии и правительства.

Лебедев поднял со стола исписанные листы бумаги, как нечто значительное и неистратимое. Не спеша, твердо произнося каждое слово, зачитал формулировку нового обвинения.

Мне предъявлялось обвинение в подготовке убийства Ворошилова. Будто, сопровождая Ворошилова по Белоруссии во время военных маневров, я намеревался заманить его на охоту куда-то в Полесье и там, в охотничьем домике, совместно с какой-то полесской террористической группой, совершить убийство.

Услышав такое, я ощутил, как у меня на голове зашевелились волосы. Я не мог вымолвить ни слова, сжало спазмой горло, перед глазами туман.

— Подумайте на досуге, что вам грозит, — как сквозь сон, донеслось до меня. — Еще не поздно спасти свою жизнь признанием...

Несколько дней меня не вызывали на допрос. Начали выводить на прогулку. Но это тоже была одна из мер, продуманных для того, чтобы еще больше помучить меня. Выводили на пятнадцать минут, да и то нерегулярно. Прогулка всегда вечером или ночью, так что солнца я не видел.

Прогулка напоминала, что есть другой, живой мир, который видится во сне, будит воспоминания. Напомнить об этом и снова, захлопнув железную дверь камеры, заставить дышать сырым спертым воздухом. Пятнадцатиминутная прогулка не улучшала моего состояния, так как на душе становилось еще тяжелее.

Исаев и Лебедев изобретали все новые и новые методы воздействия. Однажды Исаев, поставив меня в угол, повел сердечный разговор по телефону со своей женой и детьми. И удивительно, что имена его сыновей совпадали с именами моих сыновей. Он называл их Валиком, Толиком, отлично понимая, как тяжело отзовется этот разговор в моей душе. Потом я уже разгадал эту комедию садиста. И все же мне было тяжело. Где моя семья? Что с ней? Где жена, дети?..

Эти вопросы все время сверлили мой мозг, волновали душу. А за дверями кабинета был слышен истошный крик избиваемого человека. Как я ни старался удержаться, не мог. На глаза навертывались слезы, которые не удавалось скрыть.

Наблюдая за мной, Исаев прекратил телефонный разговор и победительно захохотал.

— Что, слеза прошибает? Поплачь, померщай. Вот прольется слеза раскаяния и освежит разум. Ну так что, записывать показания? — Пододвинул к себе бумагу, ехидно спрашивал Исаев...

Я промолчал.

Меня вернули из карцера в камеру. На этот раз я чувствовал себя измученным не только физически, но и морально. Злился на себя за то, что проявил слабость, показав Исаеву свои слезы. Он ликовал, увидев меня в слезах. Очевидно, решил, что стоит еще немного поднажать, и я подпишу все.

Нет, проявлять слабость больше никак нельзя. Потерять мужество — значит, потерять все. Подписать, что предлагают, — значит, подписать себе смертный приговор, оклеветать десятки людей, упоминаемых в протоколах.

В тот же день ко мне в камеру втокнули человека. Это был мой первый сосед по несчастью, которого я встретил за девять месяцев своего заключения.

Он был страшен. На тощей шее держался голый череп, только внизу, возле ушей и затылка, вился венчик редких седых волос. Большие зубы напоминали что-то вроде улыбки, тусклые, навывкате глаза отливали пустым оловянным блеском. Небольшого роста, широкое лицо, крупный нос. На вид ему было лет сорок.



Войдя в камеру, он не проронил ни слова, как бы не замечая меня. Молча сел на кровать, долго вертел своим голым черепом во все стороны, а потом уставился на меня мутными бесцветными глазами. Я хотел уже было заговорить с ним, но он, будто ужаленный, вскочил, подбежал к двери и начал отчаянно молотить в нее кулаками, громко крича: «Откройте, откройте!» Надзиратель, открыв окошко, прикрикнул на него. Сосед замолчал и стал плакать, судорожно вздыхая.

Я наблюдал за ним с опаской и острым состраданием. Этот несчастный был, безусловно, в состоянии невменяемости. Но в первый момент я был рад и этому человеку. Однако эта радость вскоре сменилась тяжелым разочарованием, так как общение с ним стало для меня жестокой пыткой. После бессонных ночей на допросах мне хотелось спать, а мой напарник, к утру проявляя наибольшее буйство, кричал, плакал, стучал в дверь, бил кулаками в стену, кому-то угрожал. Затем внезапно умолкал, садился на пол в углу камеры и молча смотрел в одну точку...

Так, по злой воле следователей Лебедева и Исаева протекала совместная жизнь нормального человека с сумасшедшим. Когда меня приводили на допрос, а вернее, на ночную стоянку, Лебедев спрашивал со смехом:

— Ну как сосед по камере? Понравился? Теперь вам веселее, все же двое! — злорадствовал Лебедев на очередном допросе, которым я уже потерял всякий счет.

В ответ я не проронил ни слова.

— Продолжаете отмалчиваться?.. Ну что ж, это не имеет уже никакого значения. Вы изблещены по всем статьям предъявленных вам обвинений и будете расстреляны, — цедил он сквозь сжатые зубы. — Вам давно уже пора гнить в яме. Черное пятно врага народа оставишь и на своих детях. Следствие подходит к концу, все выяснено и подтверждено.

Упорно глядя мне в глаза, Лебедев во всех подробностях стал описывать, как меня будут расстреливать:

— Тебя выведут из автомашины со связанными руками. Ты не будешь чувствовать, как ступают ноги. Твое тело становится вялым. Бешено работает мозг: жить! жить! Ты ни о чем не способен думать! Ты готов купить жизнь какой угодно ценой, но будет уже поздно! Яма, свежий песок. Тебя поставят на колени, у затылка почувствуешь холодное дуло пистолета. Жизнь твоя кончена!..

Всю ночь этот садист подвергал меня изощренной психологической и моральной пытке. Смаковал, как воспримут

расстрел моя семья, жена, дети, как будут радоваться люди, что расстрелян еще один враг народа...

Следующий допрос вел Исаев. Повторялось то же, что и вчера. Продержал ночь «на стойке» и отправил в камеру.

Я чувствовал, что следствие близится к концу. Как ни старались молодцы Цанавы, а признания предъявленных обвинений от меня не добились. И это их бесило. Ведь с разоблачением «врага народа» были, видимо, связаны поощрения по службе, награды и т. д., а пока на их головы, наверное, сыпались одни упреки и предупреждения от начальства. Если бы Исаев и Лебедев могли расправиться со мной без моих признаний, это уже было бы сделано. Но, видимо, не выходит. Ведь тогда срывается вся подробно разработанная авантюра.

С бывшим председателем Совнаркома Белоруссии Н. М. Голодедом сорвалась крупная провокация, задуманная бывшим Наркомом НКВД БССР Берманом. Голодеда лишили жизни без суда и следствия, но политический спектакль с разоблачением «врага народа» все же не удался. Только и было сообщено, что Голодед «все унес с собой». Цанавы, похоже, учел эти уроки, и я ему нужен живой, чтобы раскрутить кампанию лжи и клеветы. Чтобы цитировать на собраниях, конференциях, даже съездах «собственные показания и истосердечные признания враждебной деятельности Ковалева», чтобы назвать его «соучастников» и тому подобное.

В знак протеста против произвола у меня возникла мысль объявить голодовку. Но кто об этом узнает? Чего добьешься? Ничего, только еще больше ухудшишь подорванное здоровье. А впереди, было ясно, ждут новые испытания. Впереди, очевидно, суд. И мне хотелось, чтобы скорее был суд, где я мог бы на открытом заседании опровергнуть клевету. Не может быть, рассуждал я, чтобы суд не разобрался во всей нелепости предъявленных мне обвинений. Мне 35 лет, я хотел жить и верить в правду. Пусть неистовствует и извращает истину Цанавы, пусть верит ему, если уже поверил, Пономаренко. Но есть партийная, ленинская правда. Она победит!

Эта вера в правду, в добро и человечность укрепляла силы. Человек обладает удивительным запасом прочности. Его никогда не покидает вера в добрый исход, и в этом его сила.

— Собирайтесь с вещами, — сказал надзиратель, — живо!

Было предрассветное утро. Меня вывели в тюремный



двор, где стояла закрытая автомашина «черный ворон», втиснули в одну из ее ячеек. Загудел мотор, и машина тронулась. Куда же меня везут? Неужели на суд? Это хорошо! Нужно сохранить спокойствие, собраться с мыслями.

Машина остановилась, послышался скрип ворот. Машина въехала в какой-то двор, и тяжелые ворота захлопнулись.

— Выходи, — сказал конвоир.

Я увидел тюремный двор с высокой каменной стеной и башнями.

— Опустит голову, — последовал злой окрик. — Ниже опусти, смотри себе под ноги!

Меня привели в камеру с низким потолком, без окна, с деревянным полом, усыпанным толстым слоем песка. Камера находилась на первом этаже какого-то отдельного помещения.

В камере было очень тепло. К стене были прикованы две железные кровати. Грязные вонючие тряпки — подобие тюфяка, одеяла и соломенной подушки — лежали на кровати. Я сел на кровать. О ужас! На меня полезли блохи. Они моментально покрыли лицо, руки, ноги, все тело. Боль и зуд не давали покоя. Я стучал в дверь, требовал врача, прокурора. Надзиратель зло предупредил:

— Будете шуметь — посадим в карцер!

Но я продолжал стучать, требуя прокурора. Наконец, пришел какой-то эпиквездист, назвав себя помощником начальника тюрьмы. Услышав мой протест, ответил:

— Это вам не санаторий, а тюрьма! — Хлопнул дверью и ушел.

На допрос не вызывали. Я сам попросился к следователю. Когда привели, заявил, что не скажу ему ни одного слова до тех пор, пока не будет предоставлена возможность встретиться с прокурором.

Через несколько дней Исаев сообщил:

— Вы требовали прокурора — будет вам прокурор!

В кабинет следователя вошел человек в штатском, представился прокурором по надзору, не назвав своей фамилии. Я попросил подтвердить это документом. Он брезгливо смерил меня взглядом и сказал:

— Какой вам нужен еще документ? Вам сказано, что я прокурор! Говорите!

Доверия к этому человеку я не испытал. Не было смысла рассказывать ему все, что думал. Пожаловался лишь на блошиную камеру.

— Ваше заявление мы проверим. — И ушел.

Через два дня ко мне в камеру посадили другого человека.

Оба мы скреблись, чесались и беспощадно казнили блох. Мой сосед, довольно пожилой человек, шамкая беззубым ртом, отрекомендовался бывшим шофером генерала Довбор-Мусницкого. Того самого Довбор-Мусницкого, который затопил белорусскую землю невинной кровью мирного населения в 1917—1918 гг.

С шофером белопольского генерала тем для разговоров у меня не было. Но так как он, по его словам, был шофером высокого класса, я выразил желание изучать автомотор, на что он охотно согласился.

На песке, которым был посыпан пол, он рисовал чертежи узлов и объяснял их устройство. Рассказывал о назначении и действии основных частей мотора: карбюратора, свечей зажигания, поршней, колец, объяснил подачу горючего в мотор... Эти занятия отвлекали от тяжелых мыслей. Время проходило быстрее.

Где-то в камере в конце коридора беспрерывно кричал заключенный. Он был стучал и плакал, рыдал. Надзиратель говорил, что это притворяется сумасшедшим какой-то писатель «нацдем». Но притворства здесь не было. Кричал действительно большой, психически ненормальный человек. У меня еще были свежие впечатления о совместной жизни в одной камере с сумасшедшим. И этот крик и леденящий душу вой мне были знакомы. От него невозможно отвлекаться, он преследует тебя всюду, звенит в ушах и давит на сердце. Напрягаешь всю силу воли, чтобы самому не завывать так же дико и страшно.

В одной из камер, в конце коридора, были заключены дети-подростки. Они причиняли надзирателям много беспокойства. На прогулку вылетали из камеры вихрем, оглашая весь коридор криком, шумом, бегом. Надзиратели, ругаясь и сквернословя, гонялись за ними. После прогулки их с трудом загоняли в камеру.

Из этой камеры нередко раздавалась песня:

Как умру я, умру,  
Похоронят меня.  
И никто не узнает,  
Где могилка моя...

Больно было слышать эти детские голоса. Неотступно меня преследовала мысль: «Где же мои мальчишки, Валентин и Анатолий? Что с ними? Может быть, их уже нет в Минске? А что с женой? Где Мария?..»



Меня возвратили во внутреннюю тюрьму и посадили в одиночку. В этой камере под потолком было маленькое окно с массивной железной решеткой. Стекло было разбито, и воздух проникал в камеру. По сравнению с теми камерами, где меня содержали раньше, эта была лучше.

Наконец, следствие прибегло к последнему козырю. Мне устроили очную ставку с бывшим секретарем ЦК КП(б) В. Д. Потапейко. В последнее время перед арестом он несколько месяцев проработал начальником управления по делам искусств при СНК БССР. В большой комнате находилось человек шесть работников КНВД, в том числе Исаев и Лебедев. В центре комнаты восседал за столом начальник следственной части Сотиков. Он руководил очной ставкой.

Справа в углу сидел человек-скелет. Это и был В. Д. Потапейко. Узнать его было невозможно: лицо черное, по обе стороны рта залегли глубокие старческие складки, глаза потухли.

Склонив голову, он тупо смотрел на свои колени. Мне казалось, что он даже ничего и ничего не замечает. Его губы шевелились, как у старухи на богомолье. Чувствовалось, что это был тяжело больной человек.

Меня поместили в центре комнаты напротив Сотикова.

— Вы знаете этого человека? — спросил меня Сотиков.

— Нет, этого человека я не знаю, — ответил я.

Обращаясь к Потапейко, Сотиков сказал:

— Перед вами сидит Ковалев. Узнаете его?

— Да, — последовал ответ.

— Так вы что же, не узнаете Потапейко? — обрушился на меня Сотиков.

— Нет, не узнаю, — всматриваясь в Потапейку, ответил я. Я помнил, что на его лице было большое родимое пятно. Где оно? Все лицо его было черным.

— Вам не удастся увернуться. Показания Потапейки разоблачат вас, — зло говорил Сотиков, глядя на меня.

Сотиков ставил вопросы Потапейко таким образом, что ему оставалось говорить в ответ только «да».

— На допросе такого-то числа вы показали то-то. Подтверждаете?

— Да, — вяло ронял Потапейко.

— Такого-то числа вы показали, что Ковалев вам лично дал враждебное задание. Подтверждаете?

— Да.

— Такого-то числа Ковалев говорил вам то-то и то-то. Подтверждаете?

— Да.

С болью глядя на него, я не выдержал:

— Потапейко! Подыми голову, посмотри на меня! Что ж ты подтверждаешь ложь?..

— Молчать! — крикнул Сотиков, ударив кулаком по столу. — Я запрещаю вам задавать вопросы.

От крика Сотикова Потапейко как-то сжался и, мне показалось, задрожал, голова его еще больше втянулась в плечи, и он забормотал что-то невнятное.

— Разрешите мне задать Потапейко несколько вопросов? — обратился я к Сотикову.

— Вы не имеете права задавать вопросы. Здесь спрашиваю я.

— В таком случае я протестую против этой очной ставки. Это больной человек, и я требую его врачебного освидетельствования.

На меня посыпались ругань, сквернословие и угрозы. Очная ставка продолжалась.

Когда на все вопросы были получены утвердительные «да», Потапейко увел, а Сотиков, Шибедев и Исаев набросились на меня: били, плевали в лицо. Сотиков истерично кричал:

— Уничтожим тебя, гадина!

После этого меня несколько дней не вызывали. Видимо, был исчерпан весь запас клеветы и измышлений. Книг не давали, свидания с женой не разрешали.

Тараканы и муха — единственные живые существа, к которым я мог обращаться.

Муха ежедневно влетала через тюремное окошко в камеру точно к обеду, именно к тому времени, когда заключенным раздавали пищу. По ее жужжанию я знал, что сейчас откроется дверное окошко и подадут баланду. К тому времени из-за отопительных батарей, прикрытых металлической сеткой, выползали усатые тараканы. Таким образом, к обеду составлялось «общество» — муха, тараканы и я. Угощая их, я разговаривал с ними. Это заметил надзиратель и, открыв камеру, зашел:

— С кем вы тут разговариваете? — внимательно осматривая камеру, спросил он.

— А вот видите, живые существа, тоже есть хотят. Угощаются у меня, с ними и веду разговор, — указывая на тараканов и муху, ответил я.

Надзиратель смотрел на бетонный пол, где бегали тараканы, а на железном столике над каплей баланды работала муха.



— Да вы осторожно, раздавите, — предупредил я надзирателя, — ведь это единственное живое существо, с которым мне можно разговаривать. Надзиратель посмотрел на меня долгим печальным взглядом и, ничего не сказав, вышел из камеры. Видимо, решил: рехнулся человек.

Трудно описать состояние человека, заключенного в одиночную камеру. Все давит на тебя: темно-коричневые стены с пятнами плесени и грязи, маленькое окошко под потолком с массивной железной решеткой, а то и совсем без окошка — бетонный склеп.

Тюремная решетка меняет все твои представления о жизни. Начинаешь думать, что, может быть, вообще нет живой природы, нет солнца, нет деревьев, нет цветов, нет шумной жизни улиц... Может быть, вообще ничего нет, а есть лишь муха, тараканы, клопы, блохи, надзиратели и следователи.

Иногда наступает оцепенение, замирает мысль, и кажется, что жизнь твоя кончена. Но в какой-то момент проясняется мысль, и ты чувствуешь, что ты есть, но скован стенами бетонного склепа.

На дворе stood сентябрь. Впервые меня вызвали на допрос днем. Я увидел солнце, лучи которого проникли через зарешеченное окно кабинета следователя.

Лебедев объявил, что следствие по моему делу закончено. Перечислил все статьи и параграфы, по которым предъявлено обвинение, и сказал, что моя виновность полностью доказана.

— Вы совершили крупнейшее государственное преступление, — говорил он. — Следствие раскрыло и выявило всех участников этого преступного дела. Установлены и доказаны враждебные действия ваши и ваших соучастников в подготовке свержения Советской власти в Белоруссии, факты вредительства и диверсий, подготовки террористических актов против руководителей партии и правительства.

— Ввиду тягчайшего состава преступления, — читал далее Лебедев, — дело направляется в Военную Коллегию Верховного суда СССР. Расстрела вам не миновать!

*С полным текстом документа можно  
ознакомиться в библиотеке*